

**Константин Ушинский. О камеральном образовании**  
(1848)<sup>1</sup>

Часть вторая

После краткого обзора немецкой камералистики, в котором мы старались доказать невозможность ее существования как науки с тем определением и тем направлением, которое дают ей немецкие писатели, мы должны теперь задать себе такой вопрос: возможно ли, изменивши определение, направление и даже самое название камералистики, сделать ее наукою? И если возможно, то по какому праву заменим мы камералистику этою новою наукою?

Из всего предшествующего разбора камеральной системы мы можем вывести положительно по крайней мере то, что все камеральные писатели второго периода науки хотели сделать ее наукою хозяйства вообще, следовательно, и та наука, которая должна заменить собою камералистику, должна иметь своим предметом хозяйство вообще.

Главное направление немецкой камералистики верно; хозяйство может быть предметом науки, но я утверждаю, что само хозяйство понято немецкими писателями неправильно и то понятие хозяйства вообще, которое они себе составили, или, лучше сказать, которое они перенесли из Аристотеля в новый мир, теперь ложно, несовершенно и не может быть предметом современной науки. На эту неверность понятия немецких писателей о хозяйстве мы уже указали выше, а теперь мы постановим такой вопрос: каково должно быть понятие, каков должен быть предмет, чтобы мог он сделаться предметом науки? Германская философия глубоко и удовлетворительно разрешает этот вопрос, но германские ученые не пользуются этим решением и [68] называют именем науки все, что могут построить в какую-нибудь систему. Слова *Wissenschaft* и *Lehre* они употребляют чрезвычайно неосмотрительно; и странно, что у французов, где наука никогда не имела такого важного значения, как в жизни германской, понятие науки гораздо определеннее, яснее, хотя не так глубоко. Мы заставим здесь говорить об этом одного французского писателя, тем более что это понятие науки высказывается им по поводу предмета, весьма близкого к предмету нашей речи. Росси спрашивает: «Приложение знаний человеческих для достижения практической и определенной цели, это употребление индивидуальных и общественных сил для достижения того или другого частного результата, разве в этом, собственно говоря, состоит наука?» Далее Росси говорит: «Как должно определять науку, по тому ли употреблению, которое можно из нее сделать, по той ли выгоде, которую можно из нее извлечь, или же по ее природе и предмету ее изысканий? Ответ не труден. Нельзя определять сущность науки и назначать ей место по ее практической цели, строго говоря, наука не имеет цели. Как скоро начинают заниматься только тем употреблением, какое можно сделать из науки, только тою пользою, какую можно из нее извлечь, наука исчезает, начинается искусство (*l'art*). Наука занимается только истиною, размышляет о тех отношениях, которые вытекают из самой сущности вещей, восходит до причин явлений и связывает те выводы, которые вытекают из этих причин. Познание истины есть предмет и цель науки, а средства ее — та метода, посредством которой она изыскивает истину. Наука не обязана что-нибудь сделать для нас. Если в целом мире не будет ничего, кроме бедности, невежества и бедствия, наука политической экономии все-таки будет существовать. Всегда останется истинным то, что, прилагая тем или другим образом разумные и органические силы человека, мы произведем вещи, способные удовлетворять нашим нуждам, и эти продукты распределятся известным образом между производителями. Если человек, зная выводы науки, употребляет их для достижения богатства, благосостояния или для общественного развития, то он делает то, что он должен делать, но через это наука не изменяется. Если ни одного корабля не останется во всем океане, астрономия останется, и ее положения тем не менее будут истинны»\*. К этому прекрасному описанию науки мы прибавим, что возле всякой науки может образоваться искусство, которое будет показывать, каким образом человек может извлекать выгоды в жизни, пользуясь положениями науки; но эти правила пользования наукою не составляют еще науки, таких правил может быть столько же, сколько может человеческий произвол создать себе целей в жизни, следовательно, таких правил может быть бесконечное множество, и они могут изменяться бесконечно, но истины науки не изменяются произвольно, а только развиваются; и это развитие состоит в том, что человек от причин более видимых восходит к [69] причинам более глубоким, или, что все равно, приближается более и более к сущности предмета. Понимая так науку, мы не можем дать этого названия немецкой камералистике, потому что в ней излагаются только правила, как человек и различные общества должны пользоваться истинами политической экономии и наук естественных, чтобы достигнуть богатства и материального благосостояния.

Наука не имеет цели, или, лучше сказать, сама себе цель, а это-то и выпустили из виду немецкие писатели: они определили науку хозяйства по ее практической цели — доставлять человеку средства к жизни. Довольствуясь этим определением, они не стали отыскивать предмета для своей науки, необходимость

---

<sup>1</sup> Ушинский К. Д. Педагогические сочинения в 6 т. Т. 1. М.: Педагогика, 1988. С. 67-83. Первая вышедшая в свет работа К. Д. Ушинского (напечатана в типографии Московского университета в 1848 г.). Работа не вызвала откликов в печати.

\* Rossi. Leçon 2-me, p. 19-20. Édition de Bruxelles.

которой сознавали; они не стали отыскивать такого предмета, который не был бы создан произволом человека, не зависел бы от его взгляда на жизнь, а был бы самостоятелен как создание природы, имел бы собственное свое содержание, раскрыть которое было бы задачей науки. Если бы они отыскивали такой предмет, тогда и самая система науки не была бы произвольной теорией, не строилась бы по началам удобства, а развивалась бы так же, как развивается самый организм предмета.

Немецкие писатели смешали науку и искусство; и так как предмет науки не был схвачен ими, то камералистике осталось одно искусство — искусство добывать деньги. Вот почему удобные правила и благоразумные советы занимают в немецкой камералистике место законов.

Из всего сказанного мы можем вывести, что предмет науки хозяйства должен быть самобытен, не зависим ни от каких частных целей, должен иметь такие законы, которых бы не мог изменить произвол человека и которые бы развивались из самой сущности предмета. Таков всякий предмет природы, таково и само человечество в его истории. Поэтому всякий предмет природы может войти в науку, хотя, конечно, не всякий может сам по себе составить целую науку\*: природа, для того чтобы выразить свое содержание, проходит эти ступени, но проходит их вечно, и они остаются вечно и потому являются вечными предметами науки. Таково царство минералов, царство растений, царство животных. Каждое из этих царств есть предмет особой науки, но все они вместе составляют единую науку природы.

Другая половина мира, сознательная его половина, человечество, также развивается, также проходит целый ряд ступеней, в которых высказывает свое содержание; также проходит их вечно, и каждая из этих ступеней остается вечным выражением одной стороны человечества и может быть предметом особой науки, но все эти науки составляют единую науку, науку человечества. Здесь предмет науки не только есть предмет сознания, но сам одарен сознанием. В науках природы главным является наблюдение, а разумное развитие является уже второстепенным, есть только вывод из этих [70] наблюдений; здесь же в науках человеческих\* разумное развитие предмета является главным и только подкрепляется наблюдением. Эти два отдела наук никогда не должны быть смешиваемы потому, что самые эти предметы никогда не смешиваются в природе\*\*.<...>

Ни Аристотель, ни принявшие его мнение немецкие камеральные писатели не отделили в своем определении человеческого хозяйства от хозяйства животных; и разница между Аристотелем и немецкими камеральными писателями только та, что Аристотель понимал свое определение, понимал, что смешивает в нем хозяйство человеческое и хозяйство животных, хотел даже этого смешения и в свой век имел право на него\*\*\*, а немецкие писатели не понимали своего определения и, живши в XVIII и XIX столетиях, не имели права смешивать этих двух хозяйств. В своей «Политике»\*\*\*\* Аристотель видит в государстве творение природы, сложенное ею из семейств. Мы же не имеем никакого права смотреть так на общество. В человеке Аристотель видит животное более общественное, нежели пчелы и другие животные, следовательно, только высшую ступень животного, мы же не имеем права смотреть так на человека, даже и в хозяйственном отношении. Далее, Аристотель видит в работнике раба, а в рабе — одушевленное орудие. Знания хозяйственные он разделяет на приличные господину и приличные рабу и к последним причисляет все механические и технические знания (которым, например, учили рабов в Сиракузах), говорит, что в этих знаниях ничего нет возвышенного и что даже самое управление рабами может быть поручено управляющему, для того чтобы господин мог предаться более благородным занятиям. И потом, что не одно и то же, уметь управлять домом и уметь добывать деньги. Все эти понятия совершенно не наши, они принадлежат древнему миру, и мы не можем ничего на них строить.

Потом Аристотель проводит аналогию между животными и людьми, разбирая, какое влияние на общественное устройство тех и других оказывают способы, предлагаемые природою для добывания необходимого в жизни, и не выставляет в этом другого различия между человеком и животным, кроме того, которое имеет человек как высшее животное. Хозяйственный человек времен Аристотеля был и в самом деле не более как высшее животное. Упрекать Аристотеля в том, что он не вывел настоящего понятия человеческого хозяйства, было бы так же несправедливо, как упрекать его в том, что он доказывал возможность и необходимость рабства, что он не выставил понятия гражданского права, как его выставили римляне, что он не имеет того же понятия о государстве, о чести, о любви, какое мы имеем. Не было предмета, и Аристотель не мог знать его, [71] хотя были в его время и честь, и любовь, и государственное право, и хозяйство. Вот почему Аристотель совершенно справедливо смотрит на человека в семействе как на высшее животное, на семейство как на произведение природы, на государство как на сложение семейств, на хозяйство как на приобретение необходимых средств к жизни и как на дело домашнее и на хозяйство общества как на хозяйство семейственное. Но мы, проживши столько после Аристотеля, имеем ли право смотреть так же на вещи и заимствовать его определения для явлений нашей жизни? Если даже на общество смотреть как на создание природы, то после Аристотеля появилось много таких новых созданий природы, о

\* Природа в своем развитии проходит несколько ступеней, и каждая из этих ступеней делается предметом особой науки природы.

\* Человеческими мы называем их по предмету, а по субъекту сознания все науки человеческие.

\*\* В философии и истории человеческие науки и науки природы соединяются, но не смешиваются.

\*\*\* Как мы это увидим ниже.

\*\*\*\* Это, очень ясно видно в Polit. Arist. 1. 7-10.

которых он знать не мог и из которых он знал только первое по времени и порядку развития, именно то, в котором он жил. И так, кажется ясно, что на хозяйство человеческое Аристотель смотрел как на хозяйство животных, хотя различал их по степеням; но степень не разделяет, а соединяет предметы. Хозяйство человека было только высшею степенью хозяйства животных, и этим-то приобретением средств для животной жизни и их управлением занимается Аристотель. Это определение немецкие писатели приняли без перемены, и Рау, определяя хозяйство как деятельность, направленную на то, чтобы снабдить человека вещественными предметами, не отличает точно так же хозяйства человеческого от хозяйства животных; потому у него и наука хозяйства излагает правила, по которым человек, семейство и государство удовлетворяют своим потребностям добыванием, содержанием и приложением вещественных имуществ\*. Под это определение хозяйства подходит и хозяйство животных. Если человек смотрит на весь внешний мир как на средство, которым он может удовлетворить своим потребностям, то я думаю, что лев и тигр смотрят так же на внешний мир и причисляют к нему самого человека; если человек употребляет усилия, чтобы сделать вещи природы средствами для удовлетворения своих нужд, привести их в то положение, в котором они удовлетворяют его нуждам, то то же делает и птица, свивая себе гнездо, и бобр, строя свое жилище; если человек соединяет несколько вещей природы, чтобы сделать из них то, что ему нужно, то то же делает и пчела, превращая материалы природы в воск и мед и выбирая место для своих сотов; если человек заботится сберечь добытые им средства к жизни и если заботится в этом случае не только о себе, но и о своих близких, то это так же делают пчелы и муравьи: они хлопчут точно так же и трудятся целую жизнь, как и человек. Многие звери точно так же, как и люди, целыми семействами, родами, поколениями покоряют природу своим целям; повторяю еще, что о степени развития здесь не может быть речи. Правда, животные побуждаются к этим действиям инстинктами и исполняют их тоже по правилам вложенного в них инстинкта, но название «инстинкт» еще не отличает этой способности от рассудка, и, кроме того, животные также сообразуются с [72] обстоятельствами; человек также побуждается инстинктами, но удовлетворяет этим инстинктам по правилам рассудка. Мотив не различает действия. Человек ходит, также побуждаясь рассудком, но никто же не думал отличать человека от животного тем, что он ходит, и способность ходить в человеке изучается как способность животного, хотя эта способность имеет в человеке некоторые особенности; а потому я утверждаю, что хозяйство, как его определяют немецкие писатели, есть принадлежность человека-животного и потому может быть изучаема, или как явление природы, или как искусство, но не как наука.

Но огромность размеров человеческого хозяйства, стройность его организации, непобедимая сила этого хозяйства, его развитие в истории и неизменность его законов заставляют нас отказываться от этого смешения человеческого хозяйства с добыванием средств к жизни у животных, заставляют нас отыскивать основное отличие, из которого вытекает уже вся бесконечная разница этих двух действий, имеющих одну и ту же цель, следовательно, не цель различает эти два действия, а потому и не она должна определять человеческое хозяйство. Основной отличительный признак человеческого хозяйства должен составлять и сущность этого хозяйства, должен быть его содержанием, следовательно, содержанием и предметом науки хозяйства. В самом деле, как только был найден этот отличительный признак, тотчас появилась и наука хозяйства; с этого времени начинается ее история. Этот отличительный признак найден Адамом Смитом; я не говорю, что он первый заметил его: нет, этот закон так прост, так виден для каждого, но только Адам Смит понял важность этого закона, увидел, что на нем строится и человеческое хозяйство, и человеческое общество; он первый выразил внутреннюю необходимость этого закона и положил его в основу своей книги, которая вся есть только развитие этого закона в разных сферах, а эта книга легла основою науки хозяйства. И притом только в его время можно было сделать это, потому что только в его время политико-экономический закон лег в основу общественного устройства. Вот почему с Адама Смита начинается история этой науки, а все прежние сочинения были только попытками отыскать этот единый основной закон человеческого хозяйства, были только введением в историю этой науки. Этот основной закон человеческого хозяйства, этот его отличительный признак есть свободное разделение труда и соединение посредством этого разделения\*.

Я не стану здесь объяснять этого закона, потому что со времени Адама Смита он не требует больше пояснений; самые красноречивые страницы в сочинении этого великого человека посвящены объяснению этого закона, все остальное в его книге есть только дальнейшее; его развитие, есть только доказательство того, что на этом законе [73] строится и должно строиться человеческое хозяйство и хозяйственное общество людей. За этот закон сражается Смит, за неприкосновенность его стоит он и угрожает тем, что всякое нарушение его отомстится самым этим законом как всякое нарушение закона природы. Мы не спорим, что, может быть, Смит, пораженный величием открытой им истины, забыл, что человек имеет возможность, не нарушая разумного закона природы, прилагать его к своим целям и даже развивать его далее, сообразно требованиям века; но тем не менее истинность этого закона и его разумная необходимость не подвержены никакому сомнению, и с отвержением свободного разделения труда должно исчезнуть всякое хозяйство, или по крайней мере свободное человеческое хозяйство, и должно начаться кормление

\* Rau. Lehrbuch der Politischen Oekonomie, 1833. S. 2.

\* Называя этот закон разделением труда, мы определяем его односторонне: он столько же закон соединения труда, сколько и разделения. Это легко понять.

животных.

Мы сказали, что отличительный признак человеческого хозяйства есть свободное разделение труда и соединение в общество посредством этого разделения и для этого разделения; но и звери также соединяются в общества и целыми семействами, целыми родами и поколениями преодолевают внешнюю для них природу и подчиняют ее своим целям. В этом-то смешении обществ родовых, кровных и обществ хозяйственных, свободных лежит главная ошибка не только немецких, но и французских экономистов. Вследствие этого смешения камералисты немецкие ставят рядом хозяйство семейства, общины, народа и государства, а французские политико-экономы то вносят в свою науку все общественные вопросы, то оставляют в ней только произведение ценностей. Нам кажется, что в первом случае они слишком расширяют свою науку, а во втором слишком стесняют ее. Не все общества принадлежат политической экономии, а только те, которые устанавливаются самым хозяйством и для хозяйства. Чтобы отыскать экономическое общество в числе других обществ, мы должны обозреть их в историческом порядке.

Мы сказали уже выше, что человечество, развиваясь, проходит целый ряд ступеней, но проходит их вечно, и каждая из этих ступеней остается вечно и может быть предметом особой науки; а теперь мы постараемся отыскать, какая из этих ступеней является предметом науки хозяйства. Это изложение ступеней развития человека здесь не может быть полно, я ограничусь только самым кратким обзором, необходимым для выведения самой науки; многие истины я должен здесь принимать за аксиомы уже доказанные, на многие только намекать, многое и совсем выпускать из виду.

Человек развивается только в обществе. Развитием человека я называю тот процесс, которым он ближе и ближе приближается к своей человеческой сущности, к своему человеческому назначению, более и более сознает его и выражает это сознание в своих действиях. Общество вызывает эти законы природы человеческой и выражает их в своем организме; таким образом, изучая развитие организма общественного, мы изучаем развитие человечества. Человек вступает в первое общество, побуждаясь инстинктом, общим ему и [74] животному: это первое общество брак. Первый мотив вступления в брак чисто животный, он обуславливается крайнею односторонностью двух полов; но эта односторонность выражается во всем организме этих двух полов, не только в телесном, но и в нравственном, и человек, вступая в брак, уничтожает односторонность своей природы.

Но брак остался бы только временным, если бы к этому половому стремлению не присоединилось другое — стремление хозяйственное. Женщина по самой слабости ее организма и по назначению производить людей является в зависимости от мужчины и привязана к одному месту, является, так сказать, животным домашним. Мужчина, напротив, способный к трудам и далеким отлучкам, по своей подвижной натуре не способен к жизни домашней и кропотливому занятию домашним хозяйством; но тем не менее перемены времени года, возможность болезни и ожидание старости заставляют его подумать о том, чтобы иметь свой уголок, куда бы он мог сложить плоды своей деятельности и где мог бы потом наслаждаться ими. Таким образом человек, привыкая удовлетворять половому стремлению, привыкает в то же время удовлетворять другому, которое не чуждо и животным, — стремлению хозяйственному. Этими двумя стремлениями, удовлетворение которых находит мужчина в женщине, вводится он в постоянный брачный союз; но природа не позволяет человеку остановиться на этой первой ступени: рождаются дети, и круг общественный расширяется; эти новые существа привязаны к семейству самою продолжительностью своего детства, которое у человека не без намерения продолжительнее, чем у прочих животных, а впоследствии связываются единством характера потому, что в семействах первобытных дети не имеют причины не быть верным отражением своих родителей. Родители передают свой физический темперамент, следовательно, основу, на которой развивается характер человека, и сами же последующим своим влиянием строят будущий характер детей. Таким образом основывается дом, лица которого все пропитаны одним характером, выражают собою одну идею; способ добывания средств к жизни, которым пользовался отец, передается и детям и отражается, следовательно, на всем имуществе этого дома; таким образом создается дух семейный, первое существо не материальное и отрешенное от индивида. Когда умирает глава семейства, дух семейный, который римляне олицетворяют своими пенатами, не умирает. Китайцы, образец первобытной семейной жизни, верят только в бессмертие этого духа и не имеют другой религии, кроме поклонения ему.

По смерти родителей семейство уже не распадается, но все члены его соединены этою общностью семейного духа, который выражается в общности их характеров; расселяясь по разным местностям, сообщая с ними способы своего существования, члены бывшего семейства разнообразят и развивают далее этот общий, им завещанный характер; но общность никогда не может исчезнуть, как не исчезают темперамент и влияния, принятые в детстве. Еще в семействе [75] разделяет отец занятия и хозяйственные труды по полам и возрастам. Аномалий в первобытном семействе быть не может. Таким образом человек самым неизбежным (в отличие от необходимого) законом разрождения и смерти вводится во вторую ступень общества, которая выше семейной по самому началу своего соединения; там связывались люди непосредственным чувством, человеку в семействе не нужно было думать, чтобы определить свои отношения к отцу и к матери: он чувствовал эти отношения; но в роде это непосредственное живое чувство ослабляется; племянник должен уже считать, чтобы определить свои отношения к дяде, двоюродному брату, троюродному и так далее; человек должен уже направить мысль на свое общественное положение. Число, как и везде, является переходом от чувства к мысли, и, чем более разрождается род, тем труднее становится

определить числом родовичу свои отношения к обществу; наконец, поколенный счет делается невозможным, и человек поневоле должен искать другого соединяющего начала. Хозяйство родовое оставило свой вечный образец в хозяйстве индийских каст, но мы не можем им заняться теперь подробнее.

При распадении семейства на множество семейств каждое из этих новых семейств, расселяясь, уносило с собою основу общего характера, но разнообразило ее под влиянием тех разнообразных местностей, на которых поселялось, и тех разнообразных способов жизни, которые условливались этими местностями; вместе с тем единый семейный дух разнообразился и содержание его полнело, потому-то, чем разнообразнее страна, тем полнее содержание народного характера, чем гармоничнее сложена страна, тем гармоничнее этот характер. Когда возможность поколенного счета уничтожается, а между тем единый характер, оставленный прежним единым семейством, слишком тверд, чтобы исчезнуть, тогда обыкновенно члены рода заменяют потерю поколенного счета мифом. Такой миф был почти у всех народов, но в этом-то и состоит проба рассудка народного, чтобы сбросить этот миф, не удовольствоваться им. Избыток воображения у индийцев над всеми другими способностями не позволил им разрушить этого мифа, напротив, они привязали к нему и свое политическое, и свое религиозное, и свое нравственное существование, и жизнь индийская застыла в кастическом устройстве, как жизнь китайская в семейном. Недостаток воображения остановил развитие китайцев, избыток воображения сделал у индийцев то же, но, если народ имеет довольно задатков будущей силы, довольно рассудка, чтобы разбить миф и не успокоиться на нем, тогда он должен искать нового начала для соединения своего общества и, бросивши число, принимает этим началом мысль. Так неизбежный закон разрождения и смерти\* выводит человека из быта родового [76] в племенной; здесь человек связывается с другими уже не чувствами, не числом, а мыслью, единством языка, единством религии, единством той земли, на которой они живут и оразнообразенное единство которой выражают в оразнообразенном единстве своего характера. Но и племя разрождается; язык распадается на ветви, наречия и подречия; религия — на различные культы, обычаи; и весь характер народный вместе с разрождением и расселением народа разнообразится, распадается, и нет человеку возможности остановиться на чем-нибудь. Такой порядок дел в мире повел греческих философов к отысканию идеи; такой порядок дел в племени доводит его до создания первого исторического факта, общего всему народу, и этот единый факт ложится в основу соединения народа. Западная Азия представляет до сих пор эту отчаянную борьбу человека с ничтожеством, это постоянное стремление племени быть народом; но все эти стремления оказались безуспешными, и племя исчезает в распадениях. Так, в Иране племя наплывало на племя, каждое из них хотело произвести какой-нибудь исторический факт, стать народом, но каждое падало в бессилии; история забывала его неисторические деяния, а новые племена, как волны, заливали остатки прежнего. Так громоздились в Иране развалины на развалины. Посмотрите на эту страну, как в ней азиатские формы селятся приобрести европейский индивидуализм и определенность, селятся добыть разумное содержание европейских форм, и вы вполне поймете, почему такая судьба была назначена этой роскошной стране. В Азии не было ни одного народа, ни одного исторического факта; начало истории человека, а не природы, было в Греции, в Греции же было создано и понятие нового общества, народного, понятие народа. Из всего племенного распадаения остаются человеку только две постоянные связи: это единство страны, которою завладел народ, и единство того характера народного, который совпадает с характером страны. Если в физиономии страны провидение означило какое-нибудь историческое назначение, какую-нибудь историческую идею и если зерном народного характера является то же самое назначение, та же идея, то от всего племенного распадаения остаются неизменными, как неизменны законы разума, только эти две идеи или, лучше сказать, одна идея, выраженная в этих двух формах — в стране и ее народе. Только эта одна идея непоколебима во всеобщем потоке времени; только ею может спастись народ от ничтожества, и племя, сочувствуя этой идее как единой, общей всем членам племени, выражает это свое чувство в первом историческом факте своей жизни, в этом факте выражены и запечатлены характер племени и народа, и этот факт ложится в основу соединения общества, и это общество является уже не неизбежным кровным соединением, а народом, обществом человеческим, обществом историческим. Воля индивида, участвуя в совершении этого факта, освятилась его совершением потому, что в это время ее содержанием было нечто историческое, вечное, истинное и в высшей степени правное. С этого-то времени [77] начинается и существование народа, и развитие личности. Греция во всю свою историю успела совершить только этот факт и совершила его за все человечество; идея личности появилась уже под конец истории греческой и то только в форме возможности, в форме философской идеи; выражение ее стоило жизни Сократу. Риму назначено было создать тело для этой личности, и Рим во всю свою историю создавал это тело — создавал гражданское право, которое есть не более, как связь личности с ее телом, с миром материальным. Сущность личности состоит в том, чтобы быть исключительною или, лучше сказать, сама абстрактная личность человека есть не более, как этот постоянный процесс исключения; на этой исключительной личности не должно останавливаться, но тем не менее она лежит в основе всякого человеческого деяния, всякой ответственности за свои поступки. Рим создал личность, но разрушил общество; весь древний мир распался на индивидуальные атомы, эгоистические, исключительные, но общества не было. Этим появлением личности, воплощенной миром материальным, начинается второй

---

\* Разрождение есть главный внешний, природный двигатель патриархального периода. Этот двигатель и теперь, впрочем, оказывает влияние на историю, принуждает человека приступать к решению его вопросов.

период общественной жизни. Греция была только переходом от быта патриархального к быту гражданскому, первым историческим фактом всего человечества, таким фактом, который бывает во всяком народе в начале его истории и которым решается его судьба, его будущее назначение. Греция совершила этот факт для европейского народа. Рим создал только одну эгоистическую личность и ее одежду — право собственности, но создать общество на этой основе, соединить эти эгоистические личности, не уничтожая их, следовательно, соединить их собственным их эгоизмом, Рим не мог, он был слишком дряхл для такой великой задачи, а для решения ее нужно было много борьбы, много побед одного эгоизма над другим, чтобы, наконец, убедился человек, что его эгоизм может удовлетвориться только в удовлетворении эгоизма другого лица. Этот закон лежит в самой основе личности, всякая абстрактная личность равна другой по тому самому, что абстрактная личность не имеет содержания; всякое содержание она должна отделить от себя, следовательно, если человек будет поступать логически, то, отвергнувши одну личность, он должен будет отвергать и все прочие, следовательно, и свою собственную. Этот простой логический закон лежит в основе всего второго периода; чтобы убедиться в нем, на это нужно немного усилий ума, но чтоб исполнять его, для этого нужно было человеку пересоздаться. Первые герои этой мысли, которые преобразили себя и хотели преобразовать других, были герои христианской любви к людям, но все общество не могло подняться на такую высоту; обыкновенный человек, может быть, только несколько мгновений в жизни своей действует, повинаясь идее любви и самопожертвования, а вся остальная жизнь его выходит из эгоизма. Итак, надобно было, чтобы человек в истории убедился в том, что истина везде верна самой себе, что эгоистически верный расчет должен быть истинен, что для человека и выгодно только то, что истинно, что личность человека может только [78] существовать при признании всех личностей и что эгоизм одного человека удовлетворяется только в удовлетворении других людей, а не на счет их. Но расширить свой эгоизм разом до того, чтобы он обнял все человечество, человек не мог, ему надобно было, начавши с самого тесного кружка и проходя все более и более расширяющимся, дойти до единого народного интереса. Вот почему в средние века все европейское общество распадается на множество отдельных, мелких, замкнутых общин, но это был уже шаг вперед в сравнении с римским исключительным эгоизмом. Здесь уже несколько эгоизмов сливались в один **общинный**, и уже в таком виде этот эгоизм является исключительным, враждебным ко всему тому, что было вне его. Средневековая мысль, какой бы сфере ни принадлежала, как только выходила в мир, тотчас создавала общину, являлась в форме общины. Борьба идей, борьба интересов выражалась в борьбе общин, но в этой долгой и упорной борьбе человек постоянно убеждался, что, уничтожая интересы других, он уничтожает свои собственные, и так же часто забывал эту истину. Трудным и кровавым процессом входила она в мир. Одна община сливалась с другою из эгоизма, чтобы победить третью, и потом сливалась и с этою третьею, чтобы победить четвертую, и т. д. Так расширялся эгоизм, так более и более, преследуя свой исключительный интерес, человек расширял круг эгоистического общества — теснее и теснее соединялся с целым миром, возводил к созданию те связи, которые уже прежде его опутывали, видел, что эти связи необходимы для его собственного эгоизма. Наконец, отдельные общины начали сливаться в более обширные, в сословия. Возникновение городов и среднего сословия было уже значительной победой этой истины, но отвержение ее продолжалось в самой борьбе сословий. Эта борьба только доказала ту истину, что не человеку, а всему человечеству отдана в удел земля, что человек может перестать жить, но не может выйти из человечества, что частный, индивидуальный интерес может осуществиться только в интересе человечества. С окончанием борьбы сословий вместо интереса индивидуального, городского, интереса сословия выступает на сцену материальный интерес целого народа. Мы не будем говорить здесь, в чем выразилось это появление единого интереса народного, а упомянем только об одном его проявлении — системе меркантильной, упомянем именно потому, что в ее возникновении, в ее опровержении, в ее ошибках и в упорной слепоте ее защитников, в ее популярности выражается всего яснее та трудность, болезненность процесса, которым политико-экономическая истина проходит в жизнь. Это именно потому, что эта истина проникает в самый центр человеческого существа, проникает в его эгоизм, но зато, проникнувши однажды, она завоевывает себе непоколебимую почву, завоевывает себе такого поборника, против которого ничто не может бороться и который никогда не изменяет тому, что принял однажды: завоевывает себе эгоизм человека. На этом-то основании строится политико-экономическое общество, самое крепкое из всех обществ. [79]

Когда таким образом окончилось сложение второго периода общества — общества гражданского, появилась потребность возвести его к сознанию. Это прекрасно исполнили Гроций, Гоббес, Локк, Фергюсон, школа шотландских моралистов, Руссо, Кант, Фихте, и, наконец, в наше время эта же идея выразилась в Rechtsstaat и нашла себе пропаганду в лексиконе Роттека и Велькера. Эта идея совершенно верна, но ошибка последователей состоит именно в том, что они видят в этой форме последнюю форму общества; а ошибка Шеллинга и даже Гегеля состоит в том, что они не дают надлежащего места этой идее, что они не сознают всей ее юридической силы. Одно только это общество и нужно для экономистов, материальная сторона этого эгоистического, гражданского общества и есть экономическая сторона, и общество, построенное на этой материальной основе, есть экономическое общество. Вот почему только по создании этого общества могло появиться истинное начало человеческого хозяйства и вот почему его не могло быть ни у греков, ни у римлян. Величие, современность Адама Смита и состоит именно в том, что он первый созерцал и выразил эту в его время творящуюся идею. Вот почему и история политической экономии не идет и не может идти в прошедшее далее Смита, если выкинуть только попытки физиократов и меркантилистов отыскать этот

закон. Экономическое общество в течение всей средней и новой истории восходило к своему сознанию, но только в теории Адама Смита достигло до сознания своего основного закона свободного соединения и разделения труда, соединения и разделения этим трудом самого общества.

Поражая меркантильную систему, Смит снимает последние границы, разделявшие это общество, и, высказывая истину свободного разделения труда не только между членами одного народа, но и между членами всего человечества, возводит к сознанию экономическое общество человечества. Это великое хозяйственное общество существовало и прежде: грек носил шелковые ткани Китая и употреблял произведения Индии; римлянин пользовался трудами всего мира, и в средние века люди всего мира менялись также своими трудами, но к сознанию этого общества пришло человечество только в конце прошедшего столетия, и первый закон этого общества выражен был отцом политической экономии. Вот почему я сказал, что наука человеческого хозяйства не могла быть ни на Востоке, ни в Риме, ни в Греции, между тем как искусство хозяйства животного, может быть, нигде так не обработано, как в Китае. Хозяйство только в новое время делается связью людей, или, лучше, эта связь людей только в новое время делается историческою и, следовательно, предметом человеческой науки.

Итак, из нашего исторического очерка развития общества мы можем вывести, что нашей науке принадлежит то общество, которое обыкновенно называют обществом гражданским: общество, основанное на эгоизме и на материальных интересах, общество, в котором один член соединяется с другим именно потому, что думает только о [80] себе, о достижении своего исключительного интереса. В этом обществе всякий член самую исключительностью своего эгоизма связывается неразрывно с другим, в основе этого общества лежит та же истина, которая лежит в основе разделения труда, та же истина, по которой всё, соединяясь, разделяется и, разделяясь, соединяется.

В этом обществе чем ближе люди по своим занятиям, тем они дальше, и чем дальше, тем они ближе. Интересы двух фабрикантов одних и тех же материй, живущих в одном и том же городе, противоположны, а интересы русского фабриканта с интересами того индийского производителя, который доставляет ему краску, одни и те же. Этот фабрикант, желая, чтобы фабрика его соперника подорвалась, желает в то же время, чтобы дела индийского производителя шли как можно лучше, и забывает часто, что они пойдут хуже, если фабрика его соперника подорвется. Ремесленники одного города смотрят враждебно друг на друга, но между тем единство их занятия соединяет их в одно сословие; напротив же, каждый из этих ремесленников связан своим интересом с успехами ремесленника другого ремесла. Сапожник желает, чтобы как можно менее было у него соперников и как можно более выделывателей кожи.

Я вхожу здесь в политико-экономические толкования потому только, что они необходимы для выражения характера того общества, которое составляет предмет науки хозяйства. Работники, ремесленники, фабриканты, капиталисты и землевладельцы — вот сословия этого общества, или, лучше сказать, его элементы; они между собою распределяются по тому же неизменному закону, который лежит в основе всякого хозяйства. Это экономическое общество заключает в себе все человечество. Сознательно и бессознательно каждый находится в нем. Привести это общество и его законы к сознанию — вот цель хозяйственной науки.

Интересы этого общества суть только материальные, так же как и предметы права этого общества, права гражданского. Для юриста это общество есть общество гражданское, для экономиста — экономическое. Юрист рассматривает это общество в том виде, как его оставили римляне, рассматривает его как множество отдельных, исключительных эгоистических единиц. Экономист связывает эти единицы самим их разделением. Для юриста все эти единицы тождественны, безразличны; для экономиста все они являются колесами огромной машины, побеждающей природу; для экономиста вся эта огромная масса безразличных юридических единиц оразличивается, но и для юриста (в строгом, римском смысле этого слова) и для экономиста один и тот же субъект — эгоизм, один и тот же предмет — материальный интерес. Гражданское право лежит в основе экономии, но в нее не входит, оно предполагается ею как бесспорно существующее. Экономический интерес человечества и связь людей этим интересом — вот предмет науки хозяйства. Все другие общества, члены которых соединяются или единством происхождения, или единством характера, или единством государственной идеи, [81] или единством исторической жизни, принадлежат к другим наукам, а науке хозяйства принадлежит одно общество, члены которого соединяются разделяющим эгоизмом людей и которое организуется разделением труда.

Предмет этого общества — один только материальный интерес потому, что эгоизм в чистом виде проявляется только в материальных интересах, и потому еще, что в основе этого общества лежит гражданская личность, а идея гражданской личности только в собственности, только в мире материальном находит себе тело. Вопросы политические, религиозные, нравственные не находят себе места в науке хозяйства потому, что эти вопросы решаются по законам соединения, а не разделения, по законам любви, единства происхождения, единства исторической жизни, не по законам эгоизма, не по законам исключительной человеческой личности, которая есть единый деятель гражданского общества; только в мире материальном может осуществляться исключительная гражданская личность, потому, что осуществление личности состоит в том, чтобы запечатлеть на чем-нибудь внешнем свою исключительность, т. е. сделать это внешнее исключительно своим, т. е. усвоить его, завладеть им. А усваивать и завладевать может человек только в материальном мире, следовательно, ясно, что предметом науки хозяйства может быть только материальный интерес и то общество, которое связывается материальными интересами; те же

политико-экономы и камералисты, которые боятся загромоздить свою науку, вводя туда самое общество, делают так же дурно, как тот полководец, который, выучивши свое войско владеть оружием, выслал бы его на битву, забывши построить его в порядке, потребном для битвы.

Таким образом, мы выставили закон свободного разделения труда за отличительный признак человеческого хозяйства и потому можем утверждать, что человеческое хозяйство может быть только общественное и что только общественное хозяйство может быть предметом человеческой науки. Потому я утверждаю, что немецкая камералистика ложна в самой своей основе, следовательно, ложна в постройке и во всей своей системе.

Человек не только пользуется произведениями природы, но и заставляет природу производить; подметивши законы природы, заставляет ее служить себе. Человек овладевает природою; овладевая ее тайнами, он проникает внутрь природы и, овладевая ее законами, заставляет ее действовать сообразно своим целям. Но человек не может извратить законов природы, он только может воспользоваться ими, приводя их в действие в данное время и для данной цели. Закон разделения труда и соединения его этим разделением потому так и силен в хозяйстве человека, что он есть закон той самой природы, с которою борется человек. Этот логический закон, соединяющий противоречия, будучи основным законом человеческого хозяйства и хозяйственного общества людей, есть в то же время и основной закон хозяйства нечувствующей природы. Не нужно доказывать, что [82] природа не есть бессвязный сбор вещей, но гармоническое целое, все части которого суть только члены живого организма. В этом живом организме жизнь его и развитие совершаются по тому же логическому закону соединения и разделения труда. Все части природы, все члены ее стремятся создавать единое, и вместе с тем ни один из этих членов природы не смешивает своей деятельности с деятельностью другого; всякий из этих членов имеет свою особенную функцию, и все они этим соединением труда распадаются на бесконечное множество различных членов, различных существ. Каждый из членов природы именно потому и является особым существом, что имеет особую функцию, особое назначение. Этим своим особым назначением он отделяется от всех прочих, но вместе с тем этою только особенностью он соединяется с тем, от чего отделяется. В химии, в ботанике, в зоологии, в физике, в анатомии, в географии везде один и тот же закон является окончательным выводом, везде приближением к открытию этого закона оценивается совершенствование науки\*. От этого совпадения основного закона человеческого хозяйства с законом хозяйства природы происходит вся сила первого и удача всех тех действий, которые на нем основаны. Человек не борется с природою, а только сознает ее законы, и это сознание передает ему власть над нею; природа до тех пор еще грозна, пока недостижима, пока успевает скрывать свои тайны от человека, но, как только человек успевает вырвать у ней эти тайны, он тотчас вводит природу в круг своих сознательных действий, заставляет ее действовать сознательно, дает ей душу, сознание, потому что и самый человек не может вырваться из природы.

Наука хозяйства должна излагать те законы, по которым человек вводит природу в круг своих сознательных действий, делает ее участницею своей цели — не временной, не случайной, но цели развития. Эти законы не случайны, неизменны, потому что борьба человека с природою совершается по неизменным законам. Так как основа хозяйства человеческого есть разделение труда и основа науки хозяйственной есть логический закон этого разделения, притом этот закон извлечен из самой природы, то наука хозяйства и должна показать, каким образом человечество пользуется этим законом природы, должна показать, как разделяется труд людей по этому закону и как по этому разделению соединяются люди в единое хозяйственное общество.

Новейшие географы уже без боязни подвергнуться насмешкам и прослыть мечтателями отыскивают в форме земли, в отношении ее главных, второстепенных и мелких частей, в различных их соединениях, в произведениях различных стран, отыскивают и находят человеческое назначение какой-нибудь страны, назначение ее — служить развитию человечества. После Риттера нам нет уже нужды в [83] боязливых догадках намекать на то, что весь земной шар распадается на такие части, из которых каждая имеет особую физиономию, и что в этой физиономии, как в физиономии человека, скрывается мысль. Если какой-нибудь народ хочет удачно действовать, то должен действовать по закону той мысли, которая выражена в физиономии его страны, и, только действуя так, он будет действовать исторически, производить вечные исторические деяния, потому что эта мысль вложена самим провидением, которое создавало человека для развития, а землю делало поприщем и орудием этого развития. Провидение выразило эту мысль в гигантских и вечных письменах природы: в небе, в море, в очертании берегов, в расположении гор, рек, долин, равнин, степей, в геологическом составе почвы. Первым произведением этой выраженной мысли является растительность — первое произведение этих условий; вторым — животные — второе произведение этих условий и самой растительности; третьим — общества. Как тщетна и безумна была бы борьба с провидением, так тщетно и безумно было бы стараться исказить ту мысль, которую скрыло оно в физиономии страны. Стать выше этой мысли человек не может, сознать ее и выполнить — вот все его назначение. Чем более народ овладевает этою мыслью, чем покорнее становится ему земля его, тем становится она одушевленнее, живее, разумнее. Только того народа существование крепко и обеспечено, который опирается на эту мысль своей страны. Этот закон верен для всех действий народа, но нигде он не имеет столь очевидности, нигде истинность его не блещет так ярко, так неотразимо, как в экономических

---

\* Это так и должно быть, потому что этот закон есть первый основной закон мышления, разума.



действиях народа. Причина этого весьма понятна: это потому, что всего осязательнее действует природа на человека свойством тех произведений, которые она доставляет ему для его жизни. Правда, человек в этом отношении употребляет природу как орудие, но человек всего больше зависит от тех орудий, которые он употребляет\*.

---

\* Превосходно блещет эта простая истина у Аристотеля. Arist. Polit. I.